

12

25 ноября 1995 г.

Культура

ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ

Леонид Браславский — кинодраматург, заслуженный деятель искусств, лауреат государственных премий Литвы и Белоруссии. Со студенческой скамьи ушел добровольцем на войну с германским фашизмом. По окончании Института кинематографии работал на киностудиях бывшего Советского Союза. По его сценариям сняты многие документальные фильмы, удостоенные наград на международных и всесоюзных кинофестивалях, а также поставлены художественные фильмы "Пятеро с неба", "Большой трамплин", "Причал", "Где ты, Багира?", "Камертон". Первая повесть "Мастер спорта" опубликована в нескольких странах. Сейчас в московском издательстве "Гендальф" выходит его книга "Я — русский еврей". Отрывок из нее публикуем сегодня.

“Урок” мастеру в Кремле

Леонид БРАСЛАВСКИЙ

В те дни я познакомился с человеком — пожилым, это был единственный великий человек, которого я узнал близко, — и мои переживания показались ничтожными по сравнению с его трагедией. Самыми несчастными, по-моему, были люди с талантом от Бога, которым не давали выразить себя. Хуже этого, по-моему, ничего не бывает. Его трагедия протекала у меня на глазах. Это был Александр Петрович Довженко. Он появился на студии после тяжелого удара, который получил в Кремле. Что там произошло, я тогда не знал. Довженко увезли оттуда потрясенным, он долго болел и едва почувствовал себя лучше, приступил к созданию двух больших документальных фильмов о битве с немцами на Украине.

Прежде мне довелось посмотреть в институте его картину "Земля", и она показалась мне необычной, не похожей на рядовое кино, но скучной. Очевидно, не дорос до ее понимания. Больше всего запомнился парень, который нежно прикасался к обнаженной груди девушки — такого я еще не видел в кино, и как он от счастья плясал на дороге под луной и тут же его сразила кулацкая пуля.

А вот другой фильм этого режиссера меня ошеломил. Я пришел в институт повеселиться на студенческом вечере, заглянул в просмотровый зал, а там начался фильм "Щорс". Хотел смыться — и не смог. Гигантская фреска, огненная стихия, буйные герои! Деревенский парень-боец изрекает: "Порвалась связь времен!" — слова Шекспира, а произносит их, как свои, такой накал страстей. Я вышел после фильма ошалевшим — какое там веселье! — долго плутал по улицам, переполненный возвышенным духом картины. И когда увидел Довженко на студии, прямого, гордого, с белой головой, похожего на библейского пророка, испытал священный трепет. Не прошло и недели — ковылял с палкой по студийному коридору — и наткнулся на него.

— Задержитесь, — сказал он, приподняв руку. — Я хочу вас спросить.

Прежде ни один человек не внушал мне такого почтения, как он, и я представить себе не мог, что когда-нибудь Довженко заговорит со мной.

— Что у вас с ногой?

Я кое-как объяснил, запинаясь. Слушал он так, будто я сообщаю ему нечто чрезвычайно важное. Помедлил секунду и произнес:

— Вам нога мешает думать. Выходит, он принял меня за мыслителя, который только и занят тем, что думает о высоких материях! Кое-какие мыслишки у меня появились иногда — одно время даже записывал их, но ведь в самом деле, едва начинала доминать боль в позвоночнике и ноге, все высокое тут же вылетало из головы. И Довженко будто знал причину.

— Какое лечение может вам помочь?

Я промямлил, что в госпитале хирург говорил о каких-то родоносовых ваннах. Довженко молча выслушал меня и спросил, чем я занимаюсь на студии, и на этом разговор закончился. А через несколько дней меня разыскала его супруга Юлия Ипполитовна Солнцева и сказала, что

Александр Петрович был у министра кинематографии и в Грузию отправлена правительственная телеграмма с просьбой устроить меня на лечение в Цхалтубо, где есть родононовый источник. Голова у меня заплыла. Довженко в то время нещадно травил в газетах, и до меня ли ему было! И кто я ему? А правительственная телеграмма! Что-то совсем из другого мира. Мое замешательство супруга Александра Петровича расценила по-своему:

— Если у вас нет денег, Лёня, мы вам поможем.

Этого еще не хватало! И так не знал, как отблагодарить. И слов достойных не нашёл.

Родители наскребли мне денег на дорогу, и после лечения в Цхалтубо я явился на студию без палки, чтобы показать Александру Петровичу, что его доброта не пропала даром. Боли стали в самом деле слабей, и он искренне порадовался за меня. Дела у него шли все хуже, я знал, что он уже стал нуждаться, выглядел грустным и однажды сказал:

— Смотрю, Лёня, на людей и плачу. А что еще выпадет на нашу долю?

На студии удивлялись, что Довженко беседует со мной. Я и сам удивлялся. И никак не мог объяснить его внимание ко мне. Осмелился однажды спросить, и он ответил, что я умею слушать. И, правда, я слушал его, затаив дыхание. Приходя на студию, он прежде всего здоровался с вахтером, уборщицей, женщиной из гардероба и никогда первым не кланялся тем, кто сторонился его из-за того, что он в опале.

Александр Петрович как-то обмолвился, что за ним следят, но я не придавал значения тому, что филеры и стукачи могут и меня взять на заметку. А был случай, когда я убедился, что он опасается чего-то худшего. Незнакомый человек неожиданно открыл дверь редакции, где мы сидели в полутьме и разговаривали. Несколько секунд он пристально смотрел на нас и так же неслышно удалился. Ничего особенного, а Александр Петрович долго молчал, потом переставил телефон подальше на подоконник.

В тот вечер он рассказал мне, что произошло в Кремле. Говорил так тихо, что некоторые слова едва долетали до меня. Он встретился на фронте с Хрущевым и дал ему прочесть свой сценарий "Украина в огне". Никита Сергеевич отозвался о сценарии с восторгом и посоветовал послать его для одобрения Сталину. Сказал, что приедет в Москву и поддержит. Прежде Сталин благоволил к Александру Петровичу, беседовал с ним по ночам и посоветовал сделать фильм о Щорсе. Возможно, рассчитывал, что сам попадет в картину, хотя никакого отношения к Щорсу не имел, а Довженко даже не упомянул его в фильме.

По совету Хрущева Александр Петрович послал Сталину сценарий "Украина в огне", и, несмотря на то, что на фронте была сложная обстановка, его вызвали в Кремль. Там собрались вожди, и Сталин, перелистывая сценарий, называл страницу и говорил: "Здесь товарищ Довженко обвиняет нас, что мы допустили слишком большие потери в войне", "Здесь выступает против колхозного строя", "Здесь показывает себя украинским

буржуазным националистом", и так по всему сценарию. А каждое обвинение могло стоить жизни. И тут Хрущев не выдержал:

— Александр Петрович, вы же мне давали читать совсем другой сценарий!

Довженко успел заметить, что Сталин бросил на Хрущева острый взгляд, но промолчал. А Александру Петровичу стало плохо с сердцем, и его унесли. Многие поступали, как Хрущев, лишь бы спастись.

После "урока", полученного в Кремле, Довженко приходилось все трудней. Он продолжал писать все новые сценарии, но их не давали ставить, а когда разрешали и он начинал снимать, закрывали постановку. Сломался он, по-моему, на фильме о Мичурине, когда, пересилив себя, согласился сделать поправки, навязанные Сталиным, и погубил картину. Он стал сожалеть, что в свое время не посвятил себя полностью литературе, и, даже если бы не стали печатать, рукописи остались бы в столе. А когда я спросил его, кого из современных писателей он ценит, Александр Петрович сказал, что ему ближе всех Исаак Бабель. Задумался, как видно, уйдя в прошлое, и проронил:

— Он бывал у нас дома, в Киеве.

Еще он сказал, что Бабель, вспоминая время, когда он участвовал в походах Первой Конной армии Буденного, говорил легко, с юмором, а свои маленькие рассказы-шедевры писал трудно, бесконечно отделивал, что свойственно настоящим мастерам. Литература не могла его прокормить, и он нередко обращался к супруге Александра Петровича с просьбой одолжить деньги и при этом добавлял:

— Вы помните, надеюсь, мой недостаток. Долги я обычно не отдаю.

Когда Бабеля арестовали, Довженко вызвали на Лубянку, и следователь спросил, что он может сообщить о "враге народа", "немецком шпионе" Исааке Бабеле, которого он должен хорошо знать. Александр Петрович многого не понимал во всех этих арестах, процессах и высказывал предположение, что Бабель, очевидно, впутался случайно в какую-то нехорошую историю. Стараясь его выгородить, стал говорить о его доверчивости, мягкости. Следователь терпеливо слушал эти жалкие доводы, а потом сказал:

— Через мой стол прошло много преступников, но такого железного человека, как Бабель, я еще не встречал.

Должно быть, Бабель, не смотря на пытки, ни в чем не признался, и его забили. Многие взваливали на себя немислимые преступления, выдвали и топили других, только бы уцелеть, и если у них оставалась совесть, в какую же пытку превращалась их жизнь!

— Наверное, мы уже больше ничего не прочтем из того, что мог бы написать Бабель, — произнес Александр Петрович, и глаза его увлажнились. Он догадывался, что Бабелю не выйти на свободу. И Довженко тоже не дали создать и десятой доли того, что он мог.

Потом я встречал Александра Петровича редко, о чем очень сожалел, но никогда не забывал его доброты.